

Посвящается Рэй и Джону Кэррингтонам —
самым добрым, веселым
и бесшабашным родственникам,
каких только можно пожелать.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЭЛАЙДЖА День шестой

I

Они входят в комнату один за другим, а я уже перебрался со стула на стол. Сажу и болтаю босыми ногами. На коленке поблескивает розовый квадратик пластыря. Странно, но я вообще не помню, как поранился. Увидев, что я пересел на другое место, они приподнимают брови, но решают промолчать. Стол привинчен к полу, так что не опрокинется и не придавит меня. Когда мне было десять, я носился по Лесу Памяти, сломал ногу и чуть не умер, но с тех пор прошло два года. Теперь я гораздо осторожнее.

— Пожалуй, у нас всё, Элайджа, — говорит один из них. — Тебе уже хочется домой?

Я обвожу взглядом комнату. Впервые замечаю, что в ней нет окон. Может, из-за людей, которых обычно здесь держат, — плохих людей, не таких, как эти, которые сейчас здесь со мной. Они из полиции, хоть и не в форме. Тот, который раньше приносил мне кока-колу, объяснил, что они в *штанском*. Пошутил, наверное. Для двенадцати лет ай-кью у меня довольно высокий, но шуток я никогда толком не понимал.

Ненадолго я забыл, что они все еще смотрят на меня и ждут ответа. Я поднимаю взгляд и киваю, еще старательнее болтая ногами. С какой стати мне может *не* хотеться домой?

В моем лице что-то меняется. Кажется, я улыбаюсь.

Мы в машине. За рулем папа. Чудо-Энни с дальней окраины Леса Памяти говорит, что в наше время почти все дети зовут родителей «ма» и «па». Почти наверняка раньше и я так их называл. Без понятия, почему переключился на «маму» и «папу». Я читаю горы старых книг, в основном потому, что на новые у нас нет денег. Может, в этом все дело?

— Тебя расспрашивали? — интересуется папа.

— О чем?

— Да о чем угодно.

Перед перекрестком он сбрасывает скорость, хотя имеет право проехать первым. Он всегда такой осторожный, этот папа. Вечно боится, как бы не сбить велосипедиста, или собачника, или ежа, который замешкался, перебегая дорогу.

— Меня расспрашивали о тебе, — говорю я.

Мама на переднем сиденье поворачивает голову к папе. Папино внимание приковано к дороге. Руль он держит изящно, согнутые запястья подняты выше пальцев. Есть в его позе что-то от собачки, которая «служит», и я вдруг вспоминаю картинку Артура Сарноффа на стене в нашей гостиной: там бигль играет в бильярд с большими псами злодейского вида, с закушенными в пастях сигарами. Рисунок называется «Эй, ну-ка, одну лапу на пол!», потому что бигль примостился на стремянке, а это жульничество. Мама терпеть не может эту картинку, а мне ничего, нравится. Других у нас нет.

— О чем тебя спрашивали?

— Да про всякое-разное, папа, ты же знаешь. Какая у тебя работа, какие хобби, и все такое. — Я решаю пока не упоминать другие вопросы — и свои ответы тоже. Сначала мне надо как следует подумать. За последние несколько дней столько всего случилось, что необходимо разложить все по полочкам. Иногда жизнь превращается в сплошную путаницу, хоть у меня и высокий ай-кью.

— И что ты им сказал?

— Сказал, что ты садовник. И что умеешь чинить всякие вещи. — Я надавливаю на пластырь на коленке так, что на нем появляется ямка, и кривлюсь от боли. — Еще рассказал про ворону, которую ты спас.

Эту ворону мы нашли однажды утром у задней двери, она еле хлопала сломанным крылом. Папа выхаживал ее три дня подряд: кормил хлебом, вымоченным в молоке. А на четвертый день мы сошли вниз и обнаружили, что ее нигде нет. Вороньи кости, сказал папа, срастаются намного быстрее человеческих.

III

Мы приближаемся к окраине городка. Все меньше зданий, меньше людей. На тротуаре я вижу двух мальчишек в школьной форме: серые брюки, бордовые блейзеры, черные ботинки с ободранными носами. На вид мальчишки примерно мои ровесники. Интересно, как это — учиться не дома, а в школе? Во всем нашем доме нет ни одной книги, которую я не прочел бы больше десяти раз, так что я наверняка учился бы хорошо. Чудо-Энни говорит, что словарный запас у меня большой не по возрасту. Когда-то жил драматург, который знал больше шестидесяти тысяч слов. Вот бы мне обставить его, если получится! Я прикладываю ладонь к стеклу и представляю себе, как мальчишки оборачиваются и машут. Но они ничего не замечают, а потом скрываются из виду.

— А обо мне ты говорил? — спрашивает мама.

Ее голова все еще повернута в сторону. Я вдруг замечаю, какая она сегодня красивая. Когда заходящее солнце пробивается сквозь тучи, ее волосы блестят, как пиратское золото. Она похожа на ангела или какую-нибудь королеву-воительницу из тех, про кого я читал, — может, Бодикку или Артемисию. Мне хочется перебраться на переднее сиденье и свернуться клубочком у нее на коленях. Но я только закатываю глаза, притворяясь раздраженным.

— Я же не совсем межеумок. Если один раз потерялся, это еще ничего не значит.

Межеумок — мое новое любимое слово. На прошлой неделе любимым было *балабол* — это из среднеанглийского языка, раньше так называли не в меру болтливых людей. В жизни каждого должна быть парочка балаболов, предпочтительно с одним-двумя межеумками для компании.

Я опять выглядываю в окно, но на этот раз вижу только поля.

— Надеюсь, с Гретель все в порядке.

— С Гретель? — спрашивает папа.

И в животе у меня сразу же возникает странное ощущение — тошнотворное, скользкое, будто змея свивается кольцами и развивается снова. Я вспоминаю, что Гретель — это секрет. Поднимаю глаза, встречаюсь с папой взглядом в зеркале заднего вида. Он хмурится. У меня дрожат руки. Смотрю на маму. У нее на шее бьется жилка.

— *Нет* никакой Гретель, Элайджа, — говорит она. — Я думала, ты это понял.

В животе у меня снова скользят змеиные кольца.

— Я... я хотел сказать, Чудо-Энни. — Я запинаясь, говорю сбивчиво: — Так ее зовут в моей игре. Я сам придумал. По глупости.

Папа в зеркале отводит взгляд.

— По-моему, прозвище Чудо-Энни подходит ей больше, чем Гретель, — говорит он. — Разве не так, дружище?

Во рту у меня кисло, будто я укусил жука или жабу. Я провожу языком по зубам, сглатываю.

— Да, папа.

IV

Наше поместье непохоже на города, которые я видел по телевизору у Чудо-Энни. Здесь нет ни высоких жилых домов, ни малоэтажных, стоящих рядами, — только рощи, поля, амбары, коровники и большой особняк, который называется Руфус-Холл. По территории разбросано несколь-

ко каменных коттеджей, в том числе и наш. Про эти коттеджи говорят, что они «служебные».

За Лесом Памяти — озеро Костяшки. Это ненастоящее название — по-моему, у озера его вообще нету. Просто однажды в камышах у берега я нашел три крошечные косточки, соединенные гниющей связкой. Судя по виду, они могли составлять указательный палец маленького ребенка. Я приобщил их к своей «Коллекции памятных вещей и необычных находок» — название громкое, а на самом деле это пластиковый контейнер для еды, спрятанный под вынимающейся половицей у меня в комнате.

Недалеко от озера есть место, которое я зову Колёсный городок. На самом деле это что-то вроде кемпинга, пестрое собрание грузовичков и трейлеров, которые пригнали сюда давным-давно, а теперь они уже слишком ржавые, чтобы уехать отсюда своим ходом. Ума не приложу, почему Мёнье терпят народ из Колёсного городка на своей земле, но они терпят.

Мёнье живут в Руфус-Холле. Их там всего двое, шикуют в таких хоробах. Леон Мёнье почти все время проводит в Лондоне. А когда он в поместье, я вижу, как он разъезжает туда-сюда в своем черном «дефендере» и лицо у него такое озабоченное, словно нам на головы сейчас рухнет небо. Дом и сады вокруг него было бы здорово обследовать, но папа мне не позволяет.

Наша машина резко тормозит. Я вдруг замечаю, что мы уже дома. Мама на переднем сиденье наклоняет голову. Молится? Я смотрю на собственные руки и вижу, что они уже перестали дрожать. Я отстегиваю ремень безопасности, хватаюсь за дверную ручку, но открыть дверцу, само собой, не могу. Мои родители до сих пор пользуются блокировкой от детей, хоть мне уже двенадцать. Я жду, когда папа откроет дверцу. И тогда сползаю со своего сиденья. Он вразвалку шагает по садовой дорожке и сутулится так, будто несет на плечах весь груз земных бед. Мы с мамой идем следом.

В окнах нашего коттеджа темно, никаких намеков на то, что внутри. Входная дверь цельная, дубовая. Почтового ящика нет. Папа редко получает почту, а когда получает, ее доставляют прямо к Мёнье. Мама почту не получает. На нашей двери нет номера, ведь дом стоит не на улице. А если когда-нибудь напишут мне, на конверте понадобится указать: «*Мёнье-Филдс, Руфус-Холл, почт. лорду Мёнье-Феймерхайту, для передачи Элайдже Норту в коттедж лесника*». Это целая куча писанины, вот почему почтальон ничего не приносит не только для мамы.

К дверной притолоке приколочена перевернутая подкова, чтобы принести нам удачу. Я прохожу под ней и попадаю в дом.

V

Я у себя в комнате, стою у окна. Мы приехали двадцать минут назад, и мне уже нестерпимо хочется удрать, но я не решаюсь, пока еще нет. Слышу, как хлопает задняя дверь, и принимаю к стеклу. В саду под окном появляется папа. Вытягивает пачку «Мейфэр» из нагрудного кармана и закуривает. Прислонившись к стене угольного сарая, выпускает в небо дым. Я выхожу в коридор, крадусь вниз по лестнице и выскальзываю из дома через переднюю дверь.

От нашего коттеджа до Леса Памяти пять минут ходу. Я укладываюсь в две с половиной, пробежав трусцой по тропе вдоль Парового поля. Сверху стальным листом давит серое небо. День кажется тяжелым, будто крошится под собственным весом. На полпути к цели я слышу вопли. Оборачиваюсь и вижу, что вороны затеяли свару на Паровом поле. Нашли что-то интересное — скорее всего, недоеденного лисой кролика или фазана. Однажды я вычитал, что собирательное существительное для ворон полностью совпадает со словом *убийство*¹. Гадость какая.

¹ Murder (англ.). — Здесь и далее примеч. пер.

В Лесу Памяти зябко, и это странно, ведь ветер туда почти не залетает. Слышится ровный стук капель — напоминание об утреннем дожде. Почва под моими кроссовками мягкая и сырая. Деревья заслонили Паровое поле, вороньи вопли стихли вдалеке. Впереди что-то промелькнуло. Это может быть что угодно, но из всех существ, которые здесь водятся, я боюсь только одного. По пути домой родители не упоминали о нем, а я взял себе за правило не спрашивать. Иногда я опасаясь, что, когда слишком часто называю его по имени, его власть надо мной растет, а вместе с ней и его жестокость.

Может, *жестокость* и не самое подходящее из слов. Однажды в трейлере Чудо-Энни я видел по телевизору, как большая белая акула пополам перекусила тюлененка. Казалось бы, жестоко, но на самом деле нет — просто так устроена природа. Акула была голодной, и тюлененок стал ее добычей. Другие тюлени выскочили на берег, как только увидели, что поверхность воды режет акулий спинной плавник, — вот как важно иметь хорошее чутье на опасность. Это хорошее чутье часто меня тревожит.

Углубившись в Лес Памяти, я замедляю шаг. Среди деревьев я видел оленей, но из-за своей защитной окраски они настолько неразличимы в лесу, что зачастую разглядеть удается только их глаза. Однако быстро промелькнувшее нечто, которое я заметил раньше, было не оленем.

Я подумал, не вернуться ли бегом к Паровому полю, а оттуда напрямик домой, но я пришел сюда не просто так, и причина была слишком важной, чтобы забыть о ней.

Плохое чутье.

Хоть мое сердце и бьется быстрее, чем обычно, я невольно закрываю глаза. Три недели назад моим любимым словом было *драматизировать*. Сейчас оно особенно уместно. *На самом деле* я понятия не имею, плохое у меня чутье или нет. Но если я чему и научился, когда рос в этом

лесу, — так это подумать как следует, прежде чем доверять своим глазам.

Собравшись с духом, я делаю шаг вперед. И никого не вижу: ни испуганного оленя или барсука, под треск веток улепетывающего через подлесок, ни совы или ястреба, вспорхнувших в ветках у меня над головой. Я делаю второй шаг, затем третий, резко оборачиваюсь, проверяя, не крадется ли кто-нибудь следом. Через несколько минут я выхожу на поляну, и мой рот вдруг становится сухим, как костяшки из моей «Коллекции памятных вещей и необычных находок».

VII

До чего унылое место! Не самое подходящее для коттеджа, наверное, поэтому он и гниет здесь, заброшенный. Папа говорил, что когда-то в нем жил старший садовник поместья, в те времена, когда предки Мёнье еще нуждались в нем. А жуткое ощущение этот коттедж вызывает потому, что в точности похож на наш — вплоть до подковы на притолоке. Только здесь она насквозь ржавая. И уж точно удачи не принесла.

В рамах не уцелело ни одного стекла. Ветки ясеня торчат из окна бывшей гостиной. Часть черепицы с крыши куда-то исчезла — видно, похищена и пущена на починку других строений поместья. Наверняка папина работа: он терпеть не может, когда полезные вещи валяются без дела. То, что осталось от черепичной кровли, загажено птицами и обросло мхом, и коттедж в целом выглядит так, словно не построен человеческими руками, а скорее поднялся из земли силой чар злого колдуна. Исходящий от него запах туалета смешивается с какой-то еще более противной вонью.

Я пожалел, что не надел куртку. В Лесу Памяти зябко, а там, куда я иду, будет еще и грязно, холодно и темно. Я старательно напрягаю зрение и еще раз оглядываю поляну. Вижу деревья, с которых капает, лохматые папоротни-

ки и небо металлического оттенка, нависающее над головой, как нож гильотины. У дверей коттеджа — рыхлый пяточок, словно прелые листья здесь недавно ворошили. В прошлый раз, когда я был здесь, я совершенно точно видел у входа ящик со старыми инструментами. А теперь его нет, он словно испарился. Может, я просто перепутал? Или он в самом деле исчез и не оставил следов?

Тишину разрывает истошный крик. С дерева на другом конце поляны на меня стеклянным глазом смотрит сорока. Я вспоминаю старый стишок про сорок: *Одну увидишь — к горю*, хлопаю в ладоши, она взмахивает крыльями, но не улетает. А вскоре слышится ответный птичий крик. Я смотрю на просевшую крышу коттеджа и вижу, что на ней примостились еще две сороки.

Одну увидишь — к горю, двух — радость уж близка, три сулят девчонку.

Ледяные коготки карабкаются по моей спине. Терпеть не могу сорок. Однажды я видел, как взрослая сорока вытащила из гнезда трех птенцов лазоревки. И заклевала их раньше, чем я успел ее спугнуть. Я похоронил птенцов под кустом лавра, сделал крестик из двух палочек от леденцов и обрывка проволоки. Видеть, как птенцы гибнут, и подбирать их трупки из травы было не так страшно, как смотреть на их родителей, вернувшихся к гнезду и в растерянности ищущих своих детей. Одна из взрослых лазоревок даже слетела вниз и присела на крест из палочек. Я все никак не мог успокоиться, плакал и плакал, и папа, вернувшись домой, стал расспрашивать меня, что случилось. А я не мог даже взглянуть ему в глаза. Есть вещи, о которых лучше не рассказывать никому. И потом, папа все равно бы ничего не понял.

Я отмахиваюсь от воспоминаний и подступаю к коттеджу, стараясь не встречаться взглядом с пустыми глазницами его окон. Вскоре рядом оказывается тот самый пяточок земли в нескольких шагах от двери. Разворошенные листья поблескивают, как белесые брюшки слизней. Неужели